

## Волки

В начале двухтысячных была у меня встреча с одним крепким стариком. Как-то так сложилось, что мы оказались рядом, и у нас завязался разговор. Вначале вроде как ни о чём, а потом он незаметно приобрёл глубокую, серьёзную смысловую форму.

Размышляя о жизненных ситуациях, мы постепенно подошли к одной конкретной необычной человеческой судьбе, которую поведал мне этот пожилой человек.

Я долго хранил в себе эту пронзительную историю, давая ей дозреть до нужного часа. Её время наступило.

Теперь послушайте и вы.

— Знал я одного мужичка по имени Михай, — начал он. — Его судьба была нелёгкая, а где-то и жестокая. Он сидел ещё в начале пятидесятых прошлого века.

В заточении много переосмыслишь. Там даже нары говорят: остынь, сядь и задумайся. Любое дело, пусть самое хорошее, нельзя делать сторяча. Дёрганых не любят нигде, а в «зоне» особенно. Тюрьма северная — место ой какое нелёгкое. Но даже там, в стылой неволе, до боли хочется воли.

Была зима. Вторую неделю стояли лютые морозы. Время тогда тоже было лютое, когда по-прежнему судили за всё: за косой взгляд, за донос соседа, за сокрытое ведро картошки. За всё.

Тот мороз за тридцать, казалось, пробирал Михея и ещё несколько десятков осуждённых работяг насквозь. Пробирал до печёнок, до желудка. Синие руки и плохо обутые ноги, синяя, едва закрытая застиранной портянкой, с выступавшими крупными пупырышками шея. Много раз перемороженные уши, висевшие уродливыми лопухами, были привычным и даже обязательным довеском к обмороженным пальцам без ногтей.

Прокладывали железнодорожную колею-однополоску через глухую тайгу к обнаруженному медному руднику. Было так холодно, что казалось — замёрзло всё. Замёрзло даже постоянное нестерпимое чувство голода, от которого часто кружилась голова, слабость переходила в тупую заторможенность, речь становилась вязкой и путанной, а от начинающейся цинги кровоточили дёсны и ломило последние шатающиеся зубы.

Часто наступали лёгкие игривые галлюцинации, отчего даже маленькая еловая ветка чудилась громадным стволом, через который не переступишь. Сколько же там полегло, замёрзло и сгнило людей, где каждая шпала — судьба человека, а то и десятков погибших от голода, холода, заеденных комарами и вшами!

Из работяг к Михею льнул один политический, молодецкий очкарик, учитель истории, по имени Арнольд. Он как-то сразу прибил к бывшему молотобойцу, почувствовав в нём не свойственные для этих мест простодушие, доброту и сострадание. Михей подкармливал почти прозрачного от голода историка, отламывая ему половину от своего чёрствого кусочка хлеба, хотя сам исхудал так, что почернело лицо и впали глаза. Но уж больно слаб был учитель.

Окончательно сдал паренёк, когда у него от мороза лопнули очки. При его зрении в минус восемь Михей стал для него настоящим поводом для этих мест. Парень мог передвигаться, только держась за фуфайку Михея. Он постоянно по-детски щурился и часто шептал кузнецу с заиканием: «Н-не б-бросай...»

Сам Михей тоже был в определённой степени политический. Ему дали стандартные десять лет за невыполнение плана в сельской кузнице. Ковал заказанные скобы и не уложился в срок. Стоя у огня вторые сутки без сна, Михей присел отдохнуть и не заметил, как уснул. Разбудил кузнеца своим гортанным криком оперуполномоченный в кожанке и с пистолетом тт на ремне. Он бил Михея скобой и орал с визгливым прибалтийским акцентом:

— Где прадукция?! Чтоб ви сильно работали, я закручиваю тебе здесь гайку!

Проснувшийся от боли и истерики комиссара Михей потемнел лицом.

— Говоришь, гайки закрутишь? Смотри резьбу не сорви, — процедил сквозь зубы кузнец, сплёвывая кровь.

Скоро всё было как положено: арест и законные «десять лет без права переписки». Да и переписываться-то особо было не с кем. Благо бобыль. Не сложилось у него в своё время с хорошей женщиной. Её муж умер от тифа, она уже вроде как

и решила сойтись с Михеем, да в последний момент передумала—видно, своего по-прежнему любила и не могла забыть. Да и Михай потом больше ни на кого так и не посмотрел.

...Колею прокладывали в срок. Мороз, голод, кровавые мозоли и частая смерть не в счёт. Кайло, тачка и мотодрезина с весёлым названием «Пионерка»—главные помощники в строительстве дороги в «светлое будущее». Промёрзшая на несколько метров земля неохотно позволяла ковыряться в себе, а угрюмая тайга так и норовила отомстить человеку за массовую вырубку под корень упавшей кому-то на голову вековой сосной. Мороз временами уступал раскалившемуся человеческим нервам и злости на всё. В том числе и на светлое будущее.

От всего этого у Михея окончательно созрела давняя мысль—бежать.

Хоть куда. Но бежать. Желание засело накрепко, это вдохновляло и придавало сил. Последней каплей была смерть историка. Как тогда от мороза у учителя лопнули очки, так и у кузнеца вконец лопнуло терпение.

И он бежал... Снёс промёрзшего до костей хлипкого охранника—и в тайгу. Скоро горячность стала проходить. Густой лес и глубокий снег быстро остудили беглеца. Зряшная еда закончилась. Михай стал по-настоящему замерзать. Единственной оставшейся спичкой он, как мог осторожно, разжёл костёр. Уогня грел поочерёдно то спину, то живот, то ноги. Сил не осталось. Зато появились отчаяние и страх.

И вдруг... волки! Сначала двое, потом всё больше и больше. От их вида кровь стала горячей. Мужик, не мигая и не шевелясь, чтобы не злить их, следил за стаей. Звери—за ним.

И тут случилось необъяснимое: беглый стал внезапно с вожаком волчьей стаи разговаривать. Спокойным, неторопливым и даже смиренным голосом. А волки... Волки постепенно перестали рычать, скалиться и щетиниться. Присели. Потом прилегли и стали... слушать!

Михей им рассказывал про свою жизнь. О доме, о матери, не перенёсшей ареста единственного кормильца, о той женщине, которая была ему по сердцу и могла бы быть с ним, да как-то не сложилось. О детях, которых он очень хотел иметь, но так и остался бобылём. О своей кузне, о родичах, о том, что тятя и дед тоже были кузнецами. Это у них фамильное. Но дед сгинул в Гражданскую, отца почти не помнит (нелепая смерть на реке). Что он, тогда ещё совсем юный, сам встал за кузнечный молот, тем и кормились с матерью. Михай рассказывал волкам о своём хозяйстве, о лошади и корове. Человек разговаривал со зверем *по-человечески*. А они слушали, притихнув, будто задумались о своей нелёгкой волчьей доле. Один из них даже положил голову на спину своей волчице.

А по серому рассвету, нагревшись у костра, звери вдруж начали бесшумно уходить.

Потом же произошло нечто. Мужичок пошёл следом за стаей, по волчьей тропе. Почему он так поступил—объяснить не мог. Возможно, оттого, что его в полном смысле слушали. Зверь словно понимал, о чём говорил человек. Когда волки, вставая, уходили, их морды не были звериными. Они словно прочувствовали всю боль человеческой судьбы.

Удивительно, но скоро волки вывели Михея на охотничью заимку. Беглец был спасён. В сумрак, неприметном, умело срубленном домике, в мешочке под потолком, находился необходимый охотничий набор: сухари, соль, спички и не менее важно—нож. Всё было укрыто под белой тканью, на которой отчётливо читались написанные углём, словно монашеские, слова: «Зашедший, утолился малым, ибо следом идут другие».

— Вот так-то, дружище,—закончил свой рассказ старик. Доброе слово прошибает даже зверя, а вот люди друг друга понимать почему-то перестали. Даже зверь успокаивается и перестаёт рычать, если с ним по-человечески.

Старик ушёл. Я ещё какое-то время находился в его воспоминаниях. А потом внезапно осознал: этот крепкий пожилой человек и был Михай! Это он рассказывал о себе! И повествование его было в определённой степени покаянием и нравственным жизненным уроком для многих из нас.

## Горько!

Гриня в Покровском храме оказался случайно. Шёл мимо, ну и зашёл...

Был он, как говорят про таких, «из сидевших». Бывший детдомовец, отнятый у пьющей матери, в своей недолгой жизни успел нашкодить не так уж чтобы очень—драки да мелкое воровство.

Когда освободился, долго не мог определиться, куда податься. Настоящих друзей нет, своим не нужен. Да где и кому он теперь свой? Те, кто его мало-мальски знал и помнил, давно отвернулись. В общем, как говорится, ни кола ни двора. Поэтому рваться на волю у Грини не было особой воли. Он её даже где-то побаивался. Особенно после ответа на своё робкое письмо дальней родственнице о пристанище, в котором были грубо и размашисто начертаны несколько слов: «И не вздумай, тюремщик!» Была у него ещё слабая надежда на старенькую-престаренькую бабушку. Но жива ли она?

Северная деревенька, откуда он родом, встретила его довольно прохладно—что климатом, что приветливостью, где визитной карточкой были беззубые мужики в камуфляжах, стоявшие у магазина с прямолинейным названием «Кое-что», утки с голыми задками, облысевшими от медного купороса из заброшенного, ещё недавно доходного рудника.

Некогда процветающая деревня с хорошо развивающимся хозяйством выглядела удручающе. Из более чем пятисот домов жилых осталось не более двадцати. Хотя одно предприятие здесь процветало, и довольно неплохо. Руководила им швыдкая и хваткая не по годам бабка Нюра, содержащая местную самогонную «АЗС» под остроумным названием «Первачок». На эту «заправку» сползало немало народу и из соседних деревень, вне зависимости от пола и возраста. Ядрёное «топливо» бабки Нюры ценилось высоко, поэтому нередко возникали «пробки». В этом деле на вкус и на цвет товарищи были всегда. Очень много товарищей... Сколачивались даже настоящие интернациональные коллективы из понимающих друг друга с одного взгляда людей: мужчин, женщин и даже детей.

...К счастью, Гринькина бабушка оказалась жива. Полуслепая и плохо слышащая, она долго рассматривала родственника, потом, вздохнув, вроде как узнав, проронила: «Ну, заходи, коли пришёл. Накормить нечем. Спи где найдёшь. Чем накрыться — поищи на лавке».

Гриньку вспомнила и признала не менее пожилая дворяжка Лентяйка. Она была единственным утешением старушки и её собеседницей. Бабушка вела с ней ежевечерние разговоры о жизни, а всё понимающая Лентяйка внимательно слушала рассказчицу, сложив лапки крест-накрест и положив на них свою умную голову. Иногда, в самых острых местах о прошлом, она даже поскуливала. Вдвоём им было как-то легче.

Друга у Лентяйки не было, и всё её женское сострадание и забота перекинулись на старенькую хозяйку. Помимо собеседницы, собачка выполняла обязанности сторожа и экономки. Последнее заключалось в том, что Лентяйка следила за жабой Дунькой, чтобы та не сбежала из глиняного кувшина с молоком. Холодильника бабушка не имела, поэтому по старинке жаба и служила естественным природным льдом, чтобы молоко не испортилось и хранилось дольше. Продукты старушке просто так приносила добрая соседка. Лентяйка провожала милосердную женщину до калитки и в знак благодарности лизала ей пятки. Та едва не плакала и всё повторяла: «Ну ладно... Мы ведь всё-таки не чужие и рядом...»

Скоро Гриня ушёл. С расстроеной душой и издёрганной, он всё ещё надеялся где-нибудь приткнуться и начать жить по-человечески. Слесарь-самоучка, он очень любил технику, ему легко удавалось починить многие сломанные детали. Но куда здесь устроиться?

В райцентре его взял на работу хозяин автомайки. Своим поведением он в определённой степени соответствовал табличке, которую повесил на воротах своего дома: «Осторожно! Злой, как собака!» Всегда раздражительный, с людьми

разговаривал через плечо, сквозь зубы. Гриньку он взял на неопределённый срок за харчи и ночлег.

Днём парень мыл машины, ночью — себя. Нечеловеческое отношение быстро стало надоедать. Скоро у хозяина что-то пропало. Ясно, подумали на него. Крепко побили и выгнали. Позже выяснилось — не он.

Пробовал попрошайничать — не получалось: вдруг стало стыдно. Потом куролесил по разным местам, обзаводился и скоро терял разных дружок со схожей судьбой.

Несколько дней Гриня путался с двумя братьями-близнецами — картёжниками, по кличке Пух и Прах. Такие имена они приобрели оттого, что в пух и прах обыгрывали в карты на вокзалах случайных пассажиров, истомившихся в многочасовых ожиданиях и теряющих всякую бдительность и осторожность.

Но встречались, несмотря ни на что, среди таких и хорошие люди. К сердцу пришёлся негр Октябрь Сергеевич, неопределённого возраста и места рождения. Он довольно неплохо говорил по-русски и как-то сразу стал опекать отчаявшегося и потерявшего всякую надежду Гриньку. На попытку Гришки однажды выпить одеколон Октябрь Сергеевич так разволновался, что, выдернув флакон из его рук, начал сбивчиво кричать: — Не пей! Капут! Капут!..

Ещё у Октября было необычное увлечение: он любил петь песню «Смуглянка-молдаванка». Русский язык, как сказал он, в большей степени выучил из-за этого.

В конце лета Гриня потерял своего хорошего друга — Октября Сергеевича. Доверчивого и миролюбивого, незлого негра забили подвыпившие подростки. Как потом выяснилось, всего лишь за один внешний вид...

От горя с Гришкой едва не случился настоящий «капут». В ношенной-переношенной одежде с чужого плеча, стоптанных башмаках не по размеру, Гринька побродил-побродил по округе да и зашёл в Петровское. Там увидел маленькую беленькую церквушку. Ну и заглянул на авось. Замёрзший, грязный, никому не нужный. Размышлял недолго. Было сыро, холодно и темно. Подошёл к дому причта. Постучал раз, другой. В голове одна вялая мысль: «Турнут — не турнут...»

Зажёг фонарь, звякнул крючок. Вышел старенький священник в осенней накидке и валенках. Хоть и начало сентября, а по ночам уже зябко.

Батюшка внимательно рассматривал бродяжку. Молчал. Первым, переминаясь с ноги на ногу, деликатно покашливая в кулак, выдавил вопрос Гриня:

— Ну, мне уходить или как?

Голос мужичка неопределённого места жительства и возраста был тихий, виноватый, даже пришибленный.

Отец Василий, настоятель Покровского храма, за своё полувековое служение повидал всяких: горемычных и брошенных, высоко взлетевших по гордыни и от этого глубоко падших, а при падении больно ударившихся, покалеченных душой и телом, бесноватых, талантливых лгунишек и откровенных проходимцев. В общем, всяких...

Но были и такие, которые оставались в сердце надолго, а порой навсегда. Вот один из них... На церковный погост частенько приходит фронтовик Егорыч ухаживать за могилой жены. У него после её смерти остались две ценности: фотография, провисевшая пятьдесят лет на видном месте, и выцветшая офицерская фуражка с войны. На фотографии его верная подруга была ещё двадцатилетним сержантом — регулировщицей в освобождённом Берлине. Соседка Фрося, хорошо знавшая эту семью, сказала, что они прожили всего два года. Но после неудачных родов, во время которых молодая женщина умерла, Егорыч повесил фото своей возлюбленной над кроватью у головы, тем самым как бы оставляя её вечной хозяйкой и женой. Из других женщин в его дом больше никто не входил.

Несмотря на то, что старик жил довольно замкнуто, он был очень отзывчивым и добрым человеком. Местных не удивляло, что Егорыч ко многим в трудный час приходил сам — помогал и молча уходил. Помимо золотых рук, у него были золотая душа и чуткое сердце. В прошлом году он долго болел от сильных ожогов: горели соседи, а Егорыч кинулся тушить — вот и обгорел.

Когда ему было совсем плохо, к нему... пришла жена. Присела рядышком, погладила по голове. Скоро ожоги затянулись, и Егорыч первый раз после сильных болей крепко уснул.

Навсегда в душу батюшки вошла короткая встреча с сумирающим от туберкулёза зяком Мишей. Весь исколотый до безобразия, он за три дня до смерти сам дополз до отца Василия, исповедовался и причастился. А перед этим, протягивая священнику узелок, сказал: «Тебе верю. Отдай эти деньги, которые накопил, таким же бедолагам, как я...»

Но даже и в скорбях встречались смешные курьёзы, как, например, письмо от специфического коллектива мужчин, с которыми батюшка провёл беседу о вреде алкоголизма, где была всего одна пронзительно искренняя строка: «...с трепетом восторгались Вашим словом, и за то, что Вы с таким уважением ругаете нас, благодарность Вам от всех многочисленных и глубоко порядочных алкоголиков района...»

...Ночного заморыша батюшка рассматривал недолго. Что-то ущипнуло за сердце отца Василия. Он вздохнул и посторонился в дверях.

— Заходи. Поутру поговорим. Устроишься за печкой. Там тепло. Есть чем накрыться. Чай, хлеб — на столе, «удобства» — на улице.

Гриня едва не прослезился, даже запершило в горле. С ним так давно никто не разговаривал — просто, по-человечески. Его приняли без долгих раздражительных расспросов и язвительного тона. Открыли дверь и сказали: «Входи». И Гриня вошёл в дом, где было тепло и есть хлеб.

Первый, кто настороженно встретил Гриню, был кот Арбуз. Так его называли за необычную величину и форму в виде арбуза, с заметными частыми тёмными полосами на желтоватых боках и спине. К тому же Арбуз был негласным директором церковной территории. Эту почётную должность он завоевал в борьбе с деревенскими котами, в результате чего напрочь лишился левого уха, полхвоста и при ходьбе прихрамывал на заднюю лапу. Но эти боевые шрамы ничуть не портили его внешность, а напротив, только украшали, придавая усатому ветерану грозный вид. Ко всему прочему, Арбуз обладал ещё одним редким качеством, благодаря которому ему списывались многие грехи. Дело в том, что он почти никогда не пропускал ни одной воскресной службы. Развалившись в меланхолической дреме на крыльце храма, кот вяло, вполглаза, рассматривал всяк сюда входящего и выходящего. Но как только начинало звучать «Отче наш...», Арбуз вставал, до конца выслушивал молитву, после чего плашмя падал на бок и окончательно засыпал.

Встретив нового постояльца, кот нехотя и ревниво уступил Грине половину тёплого места, всем видом сразу давая понять: учти, мол, ты здесь только до утра, и то потому, что по благословиению!

Уставший, разомлевший, досыта наевшийся домашнего хлеба с вкусным чаем, Гриня не заметил недовольные фырканья высокомерного Арбуза. Едва он прикоснулся к подушке, как его сонные глаза захлопнулись сами собой. Глаза непривычно сладко. Мачеха-горечь забила куда-то в щель. Целебный запах ладана, крохотный огонёк лампадки словно вдохнули в душу заблудшего Гриньки давно забытое чувство умиротворения и покоя.

При отце Василии Гринька прижился быстро. Вначале его по-ревизорски беспристрастно приняла сухонькая вездесущая баба Женя, выполняющая должность старосты и казначея храма. Она несколько дней внимательно рассматривала своими остренькими глазами новичка, но в итоге, интуитивно успокоившись, махнула рукой, что означало: «Сойдёт!»

Гриня в этой беленькой церквушке очень скоро полюбил всё: и саму форму общения, спокойствие прихода и удивительно сохранившиеся до наших дней крестьянские взаимоотношения простых людей. Если до этого он, кроме презрительного «эй!», а то и того хлеще, в свой адрес ничего не слышал, то когда его по-домашнему, как своего, назвали Григорием, он даже не сразу откликнулся, не поняв, что обращаются к нему.

Григина душа пела, руки зудились и просили работы. Видя рвение молодого человека к труду, баба Женя потеплела ещё больше. Его руки были если не золотые, то около того. Срок в зоне, годы самовыживания не прошли впустую. Гриша восстановил и прочистил уже давно плохо топившуюся печь. Правда, после того как он закончил чистить дымоход и слез с крыши, переживший многое в своей жизни Арбуз, увидев абсолютно чёрного, прокопчённого трубочиста, рванул за угол с выпученными, как пятаки, глазами. Он полз на пузе, хаотично отталкиваясь всеми четырьмя короткими лапами, грубо бороздя носом землю. Не на шутку обеспокоенный здоровьем своего усатого друга, Гриша несколько минут успокаивал крупно дрожащего взъерошенного кота.

Год прожили в усердной молитве, трудах и служении. Гриня с удовольствием помогал батюшке по хозяйству, освоил начальные навыки звонаря и алтарника. Любили собираться все вместе вечерними зимними посиделками, под метель, с сухарями и запашистым, заваренным на разнотравье горячим чаем с мёдом. Пили до пота, от пуза. С удовольствием слушали друг друга, с шумом отхлёбывая чай из блюдец. Самая громкая чаёвница была баба Женя. Ей в унисон оглушительно мурлыкал разомлевший на Гришкиных коленях Арбуз. К этому времени Арбуз и Гриня подружились настолько, что кот спал в основном или на спине друга, как целебная грелка, или на груди, выполняя роль не менее полезного мехового воротника.

В конце февраля заметно потеплело. Зима, как ни пыталась удержаться, сдавала свои позиции. Стало больше солнца, подсел и затяжелел снег, звонче зачирикали воробьи.

По весне Гриня стал часто и подозрительно исчезать. Если подобные поступки кота Арбуза были ещё объяснимы — всё-таки на дворе март, то выросшая Гринькина прыть, по каждому пустяку — в район, бдительную бабу Женю насторожила.

— Ну и чего ты приобрёл в районе? — ехидно спросила ушлая старушка, едва Гриша вошёл в домик. — Ну дак, это, по делам... этим... как это... — судорожно искал оправдания послушник.

— Ка-а-аким ишо делам?! И чё ты там приобрёл на ночь глядя? — голос бабы Жени гремел, взгляд искрил электроразрядом.

— Всё скажу отцу Василию. Хоз-з-зайственник нашёлся, — шипела старушка, — Здесь ему заняться, видите ли, нечем! Двор неделю не метён, дорожки не чищены! — бабульку было не остановить. — Завтра доложу батюшке о твоих прытях!..

Гриня решил не рисковать. На покаяние к отцу Василию пришёл сразу, в душевном трепете и страхе. Робко, тихо постучал в дверь кельи, еле выдавил:

— Благословите...

Покаянная беседа длилась довольно долго. Первые минуты речь оступившегося была настолько путаной, что отец Василий, не вникая, просто смотрел в лицо кающегося грешника, не прерывая, не перебивая, не уточняя. Со своим богатым опытом он слышал всякое и от своих прихожан, и от людей случайных. Ложь он чувствовал сразу, настоящему горю и беде сопереживал, счастьем молодых радовался и благословлял на брак, уверенный, что это настоящие, крепкие чувства.

Чувства Григория показали ему незрелыми и, более того, страстными. На вопрос, как это давно и насколько серьёзно, влюблённый выпалил: — Давно! С месяц!

— Ну-у-у, это и вправду давно, — полушутя сказал батюшка. — А как со свадьбой, венчанием? — задал естественный вопрос отец Василий.

Тут выяснилось, что задумки молодых — совсем мирские и даже современные. Мол, поживём, посмотримся друг к другу, если что — распишемся, — делился планами уже осмелевший теоретический жених.

Молчаливое слушание отца Василия обмякший, расслабленный и успокоившийся Гриня почему-то воспринял на уровне отеческого «добро», чуть ли не как благословение. Когда «докладчик» закончил, батюшка ещё какое-то время молчал. Ввиду затянувшейся паузы стало нарастать напряжение в Гришкиной душе. Он начал нетерпеливо ёрзать на стуле, подкряхтывать, старясь этим привлечь внимание и побыстрее получить окончательный ответ. Отец Василий не отвечал вдохновенному собеседнику. Не отвечал, потому что слетевшее с языка Гринькино «если что» батюшку в итоге не убедило, не удовлетворило и, более того, расстроило.

От этого на нервной почве Гришку затрясло. На душе вдруг стало невыносимо горько. До ожидаемого, как говорят на современном языке, гражданского брака, а стало быть, и фривольно-условного «горько!», в надежде на которое так сладко томилось и млело сердце молодого, оставался буквально один шаг, и вдруг всё оказалось иначе, не как предвкушал жених.

— Значит, так, — начал разговор батюшка, — выби-рай: если решил поступать по своеволию, просто сожительствовать, то церковь, как прежде, не твой дом. Я тебя не держу, иди своим путём. Если же делаешь как положено, по закону, то под венец!

— Это как — под венец?! — опешил Гришка.

— Так. Женись, — ответил отец Василий.

— Не буду жениться! — заерепенился молодой.

— Тогда не ешь мясо! — внятно отрезал бунтаря батюшка.

— Как... не ешь... мясо?... — прошептал осёкшийся Гриня.

— Очень просто, — сказал отец Василий. — Объясню. Не женятся монахи. Стало быть, и ты,

приняв решение не жениться и жить при храме, как монах, обязан подчиняться монашескому образу жития и, помимо всего, ещё и строго вкушать монашескую пищу. Всё. Иди и думай.

Гриню качало. Арбуз искренне сочувствовал с трудом передвигающемуся на деревянных ногах другу. Молодой был настолько плох, что возникло ощущение, что от настоятеля вышли несколько Гришек в одном лице, отчего парень не сразу попал в дверь.

Отпущенная на размышления ночь тянулась как никогда долго и мучительно. Для Грини, казалось, остановилось всё: стрелки часов на стареньком будильнике, заклинило и без того еле ползущую черепаху-луну, а мысли... их не было вообще. На душе было пусто. Это почувствовал даже Арбуз. Кот тихо, но шевелясь, просидел всю ночь в ногах друга-страдальца, честно деля с ним последствия непростого разговора.

Когда в комнате совсем рассвело, Гриня не без трепета окончательно решился на правильный поступок. Пытавшаяся сбить его с толку нахальная и своевольная тётка-поперешница, потеряв всякую надежду на удачу, буквально выскочила из нагретого в нём, почти родного места, со злостью хлопнув дверью.

В Гришкином сердце победили смирение и простота: смиренная простота бытия при храме и внезапно усилившаяся благодарность отцу Василию за родительский приют, отчего у него даже стыдливо запершило в горле. Гулко колотилось сердце. В душе был ужас даже не оттого, что батюшка выгонит... Гриша впервые в жизни испытал страх потерять доверие, и не кого-либо, а священника, и не просто священника, а *отца*. Разум победил своеволие, да и сердце подсказало: мудрый любящий отец плохому не научит, на недоброе не благословит.

Ранним утром в келью отца Василия робко постучали. Дверь открыли. На пороге стоял кающийся, с опущенной головой, Гриня. Переминаясь с ноги на ногу, глядя в пол, он едва слышно пробормотал:

— Благословите. Женюсь...

Эх, Гриня, Гриня! Оказывается, всё так просто, а мороки-то сколько! И на душе уже совсем не горько.

Ну а дальше всё закрутилось, завертелось... Вообще, всё пошло как положено. Радостная суета и хлопоты охватили всех. Воспрянула и помолодела баба Женя, у которой раскрылись настоящие командно-организаторские способности. По предстоящему случаю даже взял отпуск радикулит у отца Василия. От радости за друга зашустрил Арбуз, став кругами носиться по двору.

Кого позвать на торжество, долго не раздумывали: деревня немолодая, наполовину опустевшая—стало быть, все свои.

В день свадьбы все оделись по-праздничному. У большинства одежда добротная, натуральная, из сундуков. Хоть и старомодная, а всё—классика.

Во время венчания молодые держались предельно собранно. Жених и невеста в эти минуты были особенно хороши. Ими не без слёз любовались родные.

После обязательных загса и венчания—к столу. Благо недалеко. Этого часа ждала и не скрывала вся мужская половина. Молодых ожидали во дворе под натянутым шатром. Наконец, громогласное: — Е-е-едут!!!

Традиционные «хлеб-соль», шутки, весёлые советы слились в начавшееся веселье и торжество.

Расселись. На столе—что Бог послал. Постарались от души. В основном своё, с огорода и погреба. Запах и внешний вид еды и питья сытого в миру делали голодным. Мужики, оглядев стол, были явно удовлетворены. Женский взгляд, зыркнув построже, сразу определил, сколько для сильного пола является мерой. В этом деликатном моменте насчёт выпить свадьба всегда была местом особым. Устарелое поколение одно отношение, у сегодняшнего—несколько иное. Те пили, да не упивались, нынче же—что называется, «Господи, помилуй!». На этой свадьбе были люди больше приходские, отчего плохого не боялись. Хотя—как повернётся...

Отец Василий присутствовал недолго. Открыв торжественную часть, пожелал молодым терпения, взаимопонимания и любви на многие лета и, пригубив чарку, дипломатично раскланялся и удалился под громкое и весёлое: «Горько!»

Бабушка Феня этот возглас пояснила так: — Пусть «горько» в шутку будет сейчас, чем горько по-настоящему потом.

Молодые вежливо и стеснительно целовались. Разговор слышался всё громче. У каждого была уже своя яркая свадебная история. Слушать друг друга было не обязательно, всё чаще и громче звучали песни, в основном, отечественного, советского производства: песни хорошие, мелодичные, со смыслом—о жизни, о семье, о доме и земле. Главным запевалой был муж бабы Жени, которого знали больше по имени—дед Ух-ты. Он так и реагировал на любой рассказ и новость: «Ух ты!» Не имея ни слуха, ни голоса, сегодня он пел с явным удовольствием. На сей раз к его языку почему-то прилипла песня «Таня, Таня, Танечка...», на что баба Женя, поджав губы, не выдержала и ткнув его в бок, застрожилась:

— Чё эт ты всё про Таньку да про Таньку? Или другое имя забыл?!

Дед Ух-ты понял, что попёр «не в ту степь», моментально перестроился на «девчонку по имени Женька»...

Застолье шумело, петушилось. За Ух-ты гурьбой заступились друзья-одногодки. Веским аргументом в поднятии его имиджа было то, что дед дошёл

до Праги и у него было две медали «За отвагу». Тут вновь закипела баба Женя:

— Я тоже дошла... Он знает докуда. И мне надо тоже давать медаль «За бабью отвагу!»! Знаете, сколько я с ним воюю?

Застолье хотя и набирало оборот, но всё же выглядело вполне прилично. Мелкие уколы не в счёт. Общая доброжелательность обстановки благотно подействовала на жениха, отчего Гриня заметно раскрепостился, часто пытался шутить, уделяя почтительное внимание тёще и тестю. Невесте это нравилось, она даже поощряла действия супруга. Григорий от переизбытка чувств и такого понимания и солидарности жены несколько разошёлся, и ему внезапно захотелось большего эффекта и великолепия от свадебного мероприятия. Искренне захотелось, чтобы люди надолго запомнили этот день. Этот день люди действительно запомнили надолго.

Внезапно жениха осенило! Он решил накормить гостей свежей свининой. Совершить этот процесс и забить кабана не простым способом, а необычным. Идея молодого была настолько оригинальна, что ему не только не перечили, а даже от неожиданности поддержали.

Жених решил забить свинью не абы как, а током. То, что кабан был выкормлен тёщей и является её частной собственностью, Гриня опасно упустил, не спросив разрешения.

Дальше события развивались стремительно, почти посекундно. Под роковой замысел молодого попали все. Правда, молодая супруга всё же пыталась удержать любимого робким:

— А может, не надо?

Но её совет утонул в общем азарте под крики: — А чё?! Давай!

Жених был в ударе. Гости восхищались прыткостью молодого. Обалдевший новоиспечённый батя беспрекословно исполнял указания нового сына. Кабана выводили из сарая с трудом и толкали к корыту, которое поставили возле трансформаторной будки. Хряк визжал как свинья, пытаясь убедить, что он не голоден. Он явно не понимал, отчего к нему такое внимание и внезапный сервис. Кабан крутил задом, мотал мордой, пытаясь удрать в любимый свинарник. Не дали.

— За зад держи,— орал жених тестю.— Крепче! Чтобы не увилвал!

Тесть намертво вцепился в толстый зад по-роста.

— Вот так! Даю два конца к пятаку!..

И Гриня дал.

Результат был насколько впечатляющим, настолько и ужасным. От полученного разряда тесть, совершив почти полный оборот в воздухе, без движения дымился на земле. Приглашённые звеняще молчали. Жених был трезв.

Первой с дрыном сорвалась тёща. Зятя гоняла минут десять. Гости не вмешивались, демонстрируя понимание и нейтралитет.

...Отец очнулся сам. С трудом встал. Долго вспоминал, где находится и кто эти люди. Все ожились, облегчённо вздохнули, громко заговорили. Слышались характеристики молодому. Внезапно отец равкнул здоровым голосом:

— Мо-о-олчать! Все дураки, а я первый. Молодым надо жить! И хорошо жить! Батя сказал!

За навозной кучей обиженно хрюкал контуженный кабан.

Выровняла ситуацию баба Женя. Она как-то негромко, по-матерински, во внезапно образовавшейся тишине почти прошептала:

— Горько.

Это услышали. И следующее «горько!» уже было с улыбкой и пожеланиями молодым счастливой семейной жизни.

И мы желаем всем «горько!». Пусть оно звучит радостно и светло как в первый день, так и в годовщину, десятилетие, тридцатилетие, пятидесятилетие совместной жизни! Порой непростой, но счастливой. Чтобы «горько!» нам возглашали внуки и правнуки, отчего на душе и на сердце было только тепло. Чтобы процветали фамилия и род от такого «горько!!!».

А после свадьбы Гриня так и служит алтарником. У молодых родилась дочка Варенька, ждут Федьку. Арбуз по-прежнему греет немолодые кости за печкой. Баба Женя руководит хозяйством и воет со своим Ух-ты, а по вечерам всё так же с шумом пьют ароматный чай с мёдом. И яркий крест над храмом искрит от луны в ночном небе под алмазной россыпью звёзд.